1998 N32

СЕРГЕЙ ЛЕЙБГРАД

ВИКТОР ЕРОФЕЕВ КАК КОМПЛЕКС НАШЕЙ НЕПОЛНОЦЕННОСТИ

В рамках проекта "Современное искусство - диалог без посредников" для меня было принципиально важным "столкнуть" вменяемые литературные и студенческие круги (а может кружки, несмотря на обилие, однако и не изобилие, нахлынувшей на литературные чтения самарской публики) с очень разными, но безусловно актуальными авторами. Такими как Лев Рубинштейн, Михаил Айзенберг, Тимур Кибиров, Андрей Сергеев...

13 марта в Самару на два с небольшим дня приехал прозаик, эссеист, литературовед, вызывавший и вызывающий слишком противоречивые отклики-впечатления и коллег по "другой" литературе (то есть по литературе реально существующей, не мнимой) и пусть изрядно поредевших, но еще уцелевших с советских времен читателей, которым тем не менее до сих пор безразлично, чем принципиально отличаются друг от друга, скажем, Саша Соколов и Чингиз Айтматов (ну вот такие у нас в России порядочные и технически образованные люди, посещающие в свободное от работы время и клуб туристической песни, и, не шучу, клуб читающей интеллигенции - так на самом деле называется любительское объединение при областной научной библиотеке).

Настороженно-озлобленное отношение, казалось бы, близких по пониманию природы современного письма литераторов, как и безумный восторг, прежде всего, профессиональных читателей (то есть, конечно же, ни в коем случае, не критиков, а молодых литературоведов и филологов) мне видятся равно предвзятыми и ситуативными. Возможно (и наверняка), Виктор Ерофеев изрядно спрямил сущность постсоциалистической (не потому что после, отнюдь нет, а потому что вне и вопреки) и поставангардной формации писателей и художников как поколения, воплотившего и разоблачившего зло (универсальное, неизживаемое) внутри человека независимо от политического строя и экономических условий, которые лишь обнажают и приближают бездны под- и бессознательного. Это не вся правда о настоящем искусстве, но, признаемся, ее неотъемлемая часть. И не все из написанного Виктором Ерофеевым можно принять как подлинную языковую данность. Однако "Попугайчика" и "Жизнь с идиотом" из этой самой данности даже при очень сильном желании трудно вычеркнуть. Пресловутое соперничество двух однофамильцев (Венедикта Ерофеева сам Виктор ценит чрезвычайно высоко), где симпатии многочисленных болельщиков всегда на стороне милого и сочно жизнелюбивого трагикомика Венички (я бы никогда не употребил имя в уменьшительной форме, если бы так сам себя-персонажа не именовал писатель), на мой взгляд, надумано и несерьезно. И если честно, то я предпочел бы автору "Москвы - Петушков" создателя "В лабиринте проклятых вопросов" и "Девушки и смерти". Как бы кому-то из нас не хотелось, но первый из них искал и находил способы вернуться в великую и слепоглухонемую литературу БОЛЬШОГО ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПАФОСА и народной жизненности, а второй провалился в постмодернистскую пустоту (в которой и дышать, и жить как в любом открытом пространстве почти нельзя, но в этом "почти" и есть смысл искусства), освобождающую или лишающую сочинителя тоталитарной лучшести и избранности. Странно, Виктор Ерофеев, совершив резкий прорыв за пределы доброго, разумного и вечного, начал вдруг, пусть и с обратным знаком, миссионерствовать и просветительствовать, превращаясь в этакого профессионального западного писателя-профессора (прошу прощения за тавтологию) и вечного юношу. Я вижу в этом следствие личного, коммуникативного дискомфорта, возникающего от ясного понимания, что движение назад уже невозможно, что речь, по слову Цветаевой, безнадежно увела Виктора Ерофеева из обустроенной, линейной, застывшей, школьной, душевной, духовной, либерально-прогрессивной и любой другой, имеющей под собой коллективистскую и социальную почву, литературы. А потом - не слишком ли показательно именно эстетическое неприятие ерофеевских текстов авторами в своей ипостаси более радикальными и жестокими в стилевом плане (с "околошестидесятниками" как раз все гораздо понятнее), чем он? Проблема морального и нравственного в литературе вдруг заталкивает в архаические доктринерские трещины даже писателей, исключивших из своих текстов авторский логоцентризм и объективно-прогрессистские интенции бывшей литературной среды. Не принимая Ерофеева, они используют школьные слова: недобрый, лукавый, капризный, поверхностный, самовлюбленный, ненадежный (в общем в разведку с ним ходить не стоит)... Но ведь именно таким стал человек (персонаж/сознание) после обэриутов. Откуда эта жажда положительного героя? Кто сегодня может быть положительным героем?..

(Интересно, что большинство претензий к Ерофееву, этих самых "не-", преимущественно личностного, субъективного характера. Если же посмотреть отстраненно и остраненно на его литературную, текстуальную биографию, - то она выглядит едва ли не безукоризненно: от самых первых статей начала семидесятых до последней прозы творчество Ерофеева складывается в единый метатекст, в котором ничего не стыдно с точки зрения его художественной и даже общей политической логики, из которого ничего не надо изымать с оглядкой на радикальные изменения культурной конъюктуры. Все герои его эссеистики и литературоведческих исследований - французские и русские - были и остаются подлинными и очень важными фигурами для современного искусства. Ни в одном из них нельзя разочароваться, будь то Лев Шестов, Леонид Добычин или Борис Виан. Или так непростителен коммерческий успех в общем весьма скромной по литдостоинствам "Русской красавицы" на Западе?)

В середине восьмидесятых на меня произвели очень отчетливое и сильное впечатление "Попугайчик" и близлежащие к нему рассказы Ерофеева. Чуть позже на фоне восторгов добрых начитанных барышень я постепенно охладевал к этому писателю, испытывал раздражение и недоверие к его текстам. Сейчас мне кажется все стало на свои места. Ерофеева начали уж как-то панически не любить и сквозь зубы критиковать. Я не хочу теперь ни любить, ни уж тем более ненавидеть этого автора. Для меня он - очевидная данность, принципально не исключимая из русской литературы конца XX века. Есть авторы ближе и дороже, но разве они только из-за этого автоматически (тем паче, что автоматизм является параличем всякого писательства) становятся реальнее его? Откройте сборники ерофеевских рассказов и эссе. Ведь такое странное и вроде бы комфортное одиночество Ерофеева того же маргинально-экзистенциального свойства, что и у Селина, Виана, Генри Миллера и, пожалуй, Набокова. И вовсе не потому, что Ерофеев писал о них, скорее даже наоборот...

А в Самаре Виктор Ерофеев достойно поучаствовал в программе самарского "ТВ-РИО", напоминающей сорокапятиминутный "Час пик", прочитал лекцию студентам в гуманитарной академии и фрагменты из сборника "Мужчины" всем остальным читателям в литературном музее (нет смысла разоблачать нынешнего Ерофеева, это слишком очевидно делают его тексты из этой эстрадно-элитарной книжки), ответил на все их вопросы и долго-долго беседовал с авторами Цирка "Олимп". Мне кажется, что мы ему в эти дни были очень нужны. На обыкновенную публику (хотя сегодня и нелепо говорить про обыкновенную публику) Ерофеев сознательно производил впечатление. Она, публика, и ненормативную лексику воспринимала как толстовские отступления на французском языке. "Блеск на грани пошлости", "столичная штучка", "породистый диссидент", "умница", "баловень судьбы" и "такой необычный-необычный"... Так что же теперь за подобное отношение к нему наивной, но интересующейся литературой аудитории обидится на него (а не на нее, то есть аудиторию) и, язвительно усмехнувшись, с классовой ненавистью за свое поруганное детство заявить, что писатель должен быть обязательно сир, убог, наг и скромен? Может быть, и стоит сделать именно так. Есть в этом что-то не чуждое, совсем не чуждое и мне. Но я вырос, я уже все-таки вырос из этого возраста...